



И.Т.Д.



Станислав Шуляк. Куклы
Давид Мартель. Вот чей-то дом
Андрей Тавров. Героини

С т а н и с л а в Ш у л я к

КУКЛЫ

Удалось сосчитать: я подарил дочери ровно шестьдесят одну куклу. Это, впрочем, не стоило больших усилий: я помнил, когда подарил первую, помнил, в какие дни, на какие праздники дарил новых кукол; бывало, я говорил: «Может, в этот раз не куклу? Может, плюшевого тигра? Или обезьянку?» — «Нет-нет, куклу, куклу!» — требовательно отвечала дочь. Ничего не поделаешь — я снова дарил куклу. Иного она от меня не хотела. Плюшевые игрушки ей дарили другие. Она росла и вскоре невольно стала помогать мне в моем счете.

Семья наша распалась. Едва образовавшись. Так тоже бывает.

Жена, забрав дочь, переехала жить в дом, оставшийся после покойной тетки, в городишке, названия коего сообщать не стану, чтобы никого не компрометировать. Или даже не в том дело: просто не стану сообщать — и все! (да и вообще: наверное, нужно быть порядочным мерзавцем, чтобы ни с того ни с сего еще и обременять мир знанием иных твоих личных обстоятельств!)

Но приезжал я туда регулярно. Во всякое время, когда удавалось вырваться — на день, на два, на неделю, на другую. И всякий раз к моему приезду дочь усаживала рядом на полу свою кукольную команду.

— Сорок восемь, сорок девять, пятьдесят, — говорила она. — Уже пятьдесят!

— Да, пятьдесят! — со вздохом соглашался я.

— Пятьдесят — это много? — спрашивала она.

— Пятьдесят — это пятьдесят! Это может быть и много, и мало.

— А пятьдесят кукол много?

— Пятьдесят кукол много!

— Вот! — торжествовала она.

Я же тихо торжествовал от того, что она торжествовала. Образовывалось что-то вроде магнитной индукции торжества. Такое часто случается меж людьми.

Собственно, по сидящим в ряд куклам было видно, что пятьдесят — это не так уж мало. Но традиции нарушать невозможно. И вот уж дочь говорила:

— Пятьдесят пять, пятьдесят шесть!..

И снова я соглашался.

По ночам мы шептались с бывшей женой на кухне. Иногда ссорились. Пару раз я даже, хлопнув дверью, выметался восвояси. Хотя и не планировал такого скорого отъезда.

Потом все равно приезжал, и дочь тогда говорила:

— Пятьдесят семь.

С женой что-то происходило, это пугало и отталкивало меня: она явно лишалась рассудка. Говорить с ней сделалось невозможно. По ее разумению, я был виновен во всех смертных грехах и заодно во всех ее неурядицах, в несложившейся жизни, в дурном расположении духа, в плохой погоде, в гнилой картошке, купленной на рынке и во всем остальном. Я терялся пред лавинами ее несурзных речей. Я не находил доводов, да они были и бесполезны.

— Помирать стану — так ведь стакана воды не принесешь!

Она особенно часто стала возвращаться к этому пункту: к стакану воды перед смертью. Я лишь махал рукою в отчаянье.

Мое предположение вскоре подтвердилось. Мне позвонила соседка из того городка и первым делом сообщила:

— Нина сошла с ума.

Приехать я смог только через неделю. Жена уже лежала в больнице, она открыла ночью газ, не зажигая огня, и лишь чудом не произошло взрыва.

И в этот раз я не нарушил традиции.

— Пятьдесят восемь, — сказала дочь.

Кукольная команда сидела рядком на полу, но на сей раз у каждой куклы была оторвана голова и лежала подле пластмассовых ног ее владелицы. Голова вскоре была оторвана и у пятьдесят восьмой.

— Знаешь, Васильич, — полушепотом говорила мне соседка. — Я говорю с Ниной твоей, я ей слово, та мне десять, и все такие, будто внутри нее черт сидит. Гнилые слова, нехорошие. Ужас, что такое сделалось с бабой!

— Да-да, я знаю, — отвечал я.

— Нет, правда, ужас! — шептала соседка.

Я ходил в больницу, носил яблоки, сумасшедшие старухи, соседки по палате, беззастенчиво пялились на меня. Одна все хихикала, она воображала себя девочкой. Пахло камфарой и, кажется, инсули-

ном. Докторица разводила руками; через три дня у жены началось воспаление легких, а еще через неделю она умерла.

Стакан воды так поднести и не удалось — меня не пускали в больницу.

Приехала Нинина мать из Тулы, семидесяти лет, выглядевшая на девяносто.

Сказала:

— Катька пусть живет у меня! Покуда живу. А помру — как Бог даст. Тут уж сам думай!

— Справимся, — сказал я.

— Ты мужчина еще видный, тебе не до горшков и пеленок! — возразила она.

— Одиннадцать лет — какие горшки и пеленки?! — огрызнулся я.

— Все равно — хоть бы и одиннадцать!

— Сказал — справимся!

— Пятьдесят девять, — сказала в тот день дочь, отрывая голову новой кукле.

Мы стали собираться.

— Куклы, — сказала дочь, — с собой берем!

— Зачем тебе куклы? Ты уже большая! Выросла из кукол! Они без голов, я тебе новых куплю, а лучше что-то полезное взять!

Полезного мы почти ничего не взяли: кое-что из одежды и еще два мешка с куклами и их головами. Многие были полинявшими и потертыми, с вылезшими волосами.

Непросто устраивался наш новый быт в моей крохотной квартирке на первом этаже во вросшем в землю доме у станции «Елизаровской». У проклятой «Елизаровской», у полупомешанной «Елизаровской». К тому же пришлось освобождать пространство для кукольного семейства. Ходить по комнате стало трудней. Наступать на кукол или пинать их я не решался.

— Зачем ты поотрывала им головы? — спрашивал я.

— Так надо!

— Отчего надо?

— Велели.

— Тебе велели?

— Мне.

— Кто?

— Один человек.

- Я его знаю?
- Не знаешь.
- Кто он такой?
- Король.
- Король? А как его звать?
- Папа-король.
- И он велит отрывать головы?
- Велит.
- Может, хочешь плюшевого кота вместо куклы?
- Куклу!
- Ладно, — вздохнул я. — Будет тебе кукла.

Вечерами я рисовал или плотничал. Постукивал себе киянкой, стружечные завитки выскальзывали из-под стамески. А потом, через некоторое время мы торжественно проверяли на прочность новую скамеечку или вешали новую полку. Это были наши небольшие праздники.

Дочь пошла в школу, довольно далеко от дома. Приходилось ее водить туда и обратно. Шестидесятую куклу с оторванной головой она взяла с собой в школу. Должно быть, чтобы показать там новым своим товарищам. Не знаю, что случилось, но, наверное, показ прошел неудачно.

— Шестьдесят, — сказала она уже дома, усаживая куклу в ряд с остальными, и поджала губы.

- Что такое?
- Ничего! — ответила она так, что мне стало не по себе.
- Не хочешь рассказывать?
- Ничего! — повторила она.

Не могло быть «ничего», что-то все-таки приключилось. Но я не настаивал, не спрашивал.

Я ездил на этюды на острова, иногда даже выбирался на Ладугу. В такие дни дочь оставалась одна. Она уж неплохо управлялась по хозяйству. Могла себе приготовить обед.

Иногда я брал с собой спиннинг. Вроде как, заодно. Хотя, чего греха таить, в последнее время рыбалка меня занимала больше живописи. Прежде я писал с яростью, с бешенством против непокорных красок и с неутоленностью сердца от всего виденного и запечатлеваемого, теперь же — с тоскливым усердием и равнодушием к окрестному. Зато однажды с этюдов притащил полуторакилограммового леща.

— Ух ты, какой огромный! — крикнула дочь с кухни, покуда я в комнате разбираю вещи.

— Если б ты видела, как он бился в воде! — громко сказал я. — Я думал, он мне руки оторвет!

— Он и сейчас еще бьется!

— Значит, проснулся. Рыбы иногда засыпают, а потом просыпаются.

— Да, — ответила дочь и вдруг вскрикнула.

Я бросился на кухню. Оказывается, моя маленькая хозяйка во время нашей с ней болтовни успела ножом отхватить голову леща. Правда, порезала палец. Были слезы, промывание раны, йод, вата.

— За это будет шестьдесят первая, — сказала мне дочь.

— Ты молодец! — сказал я. — Такую огромную рыбу не испугалась.

— Что — рыба? — ответила та. — Рыба — ерунда!

— Я могу как-нибудь еще такую же привезти.

— Только после куклы.

Почему-то во мне нарастало сопротивление: я некоторое время тянул с пополнением безголовой кукольной команды. Мне мерещилось, что я такими подарками лишь подкрепляю в дочери что-то ее темное и потаенное, какую-то ее наследственную червоточину. Была ли в ней червоточина? Или мне это только воображалось?

— Когда? — спрашивала дочь.

— Скоро, — отвечал я.

Но «скоро» все не наступало. Дочь поджимала губы и злилась.

С нею что-то происходило. Она даже говорить стала по-другому. Она открывала рот, и из него вдруг вырывались слова, каких, кажется, нельзя было ожидать именно теперь. И еще... голос... голос! Он был будто мужским или скорее даже — старческим.

— Будешь чай? — спрашивал я.

Тут она застывала, рот ее приоткрывался, и из него вполне могло вырваться: «Да, папа, спасибо!» или «Нет, папа, попозже!» Но вырывалось совсем другое:

— Если он не хочет, так он может очень скоро пожалеть об этом, — слышались слова какого-то злобного или вздорного старичка.

— Что? — переспрашивал я.

— Я все сказал, — отвечал старичок.

— Что с тобой? — легонько встряхивал я дочь за плечи.

Больше же не было никаких слов, но одно лишь тихое шипенье и потрескивание из гортани дочери. Будто из случайной точки радиоэфира.

И глаза ее — до того застывшие, вдруг оживали, делались беспокойными, девочка словно недоумевала: что это было с ней минуту назад...

Ей уже было почти двенадцать.

— Послушай, — серьезно заговорил я с ней незадолго до дня рождения. — Куклы — это детство. Ты сама еще не осознаешь, но ты уже больше не ребенок. Ты цепляешься за детство, а природа все равно берет свое. Детство вроде болезни, эта болезнь проходит. Ты уже скоро будешь девушкой, невестой, тебе будут нравиться мальчики. Давай, я тебе куплю какую-нибудь развивающую игру. Или — толстую-претолстую книгу. Такую, что ее можно будет читать месяц, не отрываясь.

— Он опять взялся за старое! — недовольно говорил старичок из приоткрытого рта дочери.

— Что это? Как ты со мной говоришь?!

— Как надо, — сказал старичок.

Я хлопнул дверью, я бродил по улицам, дошел до Рыбацкого, потом — обратно, другой дорогой. Когда вернулся домой, дочь уже спала. Я тоже лег спать. Ночью же слышал голоса, злые, раздраженные, бранчливые. Голоса были тонкими, они шли от пола, от той стены, где сидели безголовые куклы. Головы ли говорили, или сами куклы (хотя чем им было говорить?) — Бог весть! Не то, чтобы я верил в говорящих кукол... скорее, мне было все равно, я устал и продрог. Если же куклы говорят... что ж, пусть будет так! Я уже сдался, я и сам знал, что сдался. В последний раз, сказал я себе. Меня лихорадило.

День рождения дочери пришелся на субботу. Школу она пропустила, я не препятствовал тому. Я принес ей огромную куклу в коробке. В коробке с натянутым целлофаном с лицевой стороны.

— Довольна? — спросил я.

Катя разодрала целлофан, вынула куклу.

— Он будто ставит это себе в заслугу, — услышал я хмурые слова старичка.

Я уж почти привык к нему. Мы жили не вдвоем, нас было много, с нами были еще старичок и безголовые куклы.

— Шестьдесят одна, — торжествующе молвила дочь, решительно отворачивая кукольную голову.

— Черт! — крикнул я.

— Он еще выражается, — огрызнулся внутренний старичок.

— Да! — с досадой проговорил я.

Кроме куклы, я купил бутылку вина и пирожные. Наше декадентское семейство село пить чай. Я пил и чай и вино. Вперемешку.

— Он думает, что он важен, — буркнул проклятый старичок. — Из-за своих картинок. Из-за его дурацкой рыбы.

— Гордиться рыбой вообще нонсенс, — говорил кто-то.

— Где вы еще видели гордящихся рыбами?

— Катя, прекрати! — строго сказал я.

— Я ничего, — отвечала та своим обычным голосом, отхлебнув чая.

— Я же слышу!

— Он слышит! — усмехался кто-то. Точно, что не старичок.

— Это еще кто? — крикнул я.

— И полагает, что может спрашивать.

Нет, здесь уж решительно собиралась незримая толпа, толпа теней, нелюдей, мистических и магнетических проходимцев, безжалостных выползней. Так я их про себя обозначил.

— Мне что, из дома уйти?

Но из дома я уж не мог выходить, я выпил еще стакан вина, опьянел, отяжелел и ополоумел. Дочь моя, мы привели тебя в неправильный мир, мы и сами — дети неправильного мира. Здесь всякое существование несправедливо, неверно, необоснованно, немыслимо. Мы в ловушке, в вечной ловушке у великой неполадки — небытия. Много-много слов, и я в них заплутал, запутался. Я перед ними мал и безвестен. Слово ныне у людей, и оно вовсе ничего не стоит, оно теперь совсем без цены.

Я плюхнулся на постель.

— Хоть бы разделся! — укоризненно бросила дочь.

— С днем рожденья, милая! — сказал я.

— Лучше б не умничал, — вставил слово и старичок.

— Он здесь не хозяин, — произнес кто-то из толпы.

Они уж не прятались, бродили по квартире в открытую. И дочь была заодно. Те люди принимали ее за свою. Да нет же, они принимали ее за вожатую. Дочь была старше их, она была больше их. Так, значит... они — куклы? Но нет, этого знать я не мог.

— Положи киянку! — с напускной строгостью сказал я. — Зачем ты ее взяла?

— Спи-спи! — отвечала маленькая предводительница.

Она меня совершенно не слушалась.

Киянка же будто порхала по воздуху. Людишки роились, сбивались в стаи, проходили мимо, задевая бедрами и коленями мою постель. И тогда я стал уходить. Я всегда знал, что должен уйти, и все ж к уходу не был готов. Меня провожали свистом. Киянка и весь инструмент были не на месте. Дочери я не видел, хотя она была близко, ближе самого близкого. Стакана же воды и мне никто не поднесет.

Город встретил меня отчаянием огней. Огни были посреди рассеянного света, они перебивали свет. Свет пасует перед огнями. Иногда свет заслуживает жалости. Но человеки этого не осознают.

И тут вдруг — удар! Темя. В носу защипало, замелькало в глазах, и голова пошла кругом. Я хотел было вскочить на ноги, но я не мог этого сделать. Ног своих я не ощущал, они не слушались меня. Я хотел ощупать рукой голову, но и с руками была та же история. Я взмок от бесплодных попыток.

«Киянка!» — сказал себе я. Я пытался повторить это вслух. Но споткнулся на полуслове, на полузвуче, на восходящем тоне, который так и не сумел взойти, вознестись.

Киянка была, конечно, ни при чем. Хотя мы оба думали о ней — я и дочь.

Я оцепенел, я изверился. Я не мог разогнуть скрюченных пальцев, они сделались будто чужими, будто моя рука была далеко-далеко от меня, от моего мозга. Но разве мозг важен? Разве я — это мозг? И вот еще лицо мое... способен ли я теперь пошевелить хотя бы отдельными его мускулами?

Знали ли вы когда-нибудь бессилие и беспомощность? Конечно, не знали, вы не могли их знать! Пред ними ничто все мои мистические натюрморты, все мои колченогие феерии, все мои спотыкающиеся словеса, все мои собирательные образы, все мои иступленные недомолвки, все мои умиротворяющие метафоры. Да и сама жизнь моя пред ними была ничто, сама жизнь моя сделалась бессилием и беспомощностью.

— Посмотрим, как он теперь запоеет, — слышал я глухой голос.

— Ему теперь будет не до песен.

— Мара, Мара, иди сюда, милый!

— Я еще не погулял!..

Мой ад уже состоялся. Черный козел из кукольного сообщества вдруг всунул свою недовольную рогатую голову и закричал, будто запел, нечто нерассудительное. Что-то про сонный паралич, про дальнюю дорогу, про ночные страхи, про призраков и припадки. Я шевелил глазными яблоками под смеженными веками, это, кажется, мне удавалось.

— Голову поудобнее! — сказала Катя. Для чего-то она взобралась мне на грудь. И решительно повернула мою голову набок на подушке.

«Дышать не могу», — хотел сказать я. И тут, кажется, сумел на мгновение разлепить веки.

Киянка была далеко. Зато был нож для рыбы. В руке Кати.

— Да, папа, — кротко сказала она и полоснула меня по шее.

Безголовые куклы приплясывали неподалеку. Я попытался напрячься. Но не почувствовал ни одного мускула, ни единой жилки, все мое тело было теперь не моим.

Можно в одиночку быть равным миру или даже превосходить его. Достаточно только обладать чрезвычайным умом и некоторой работоспособностью. И тогда, быть может, сам мир приползет к тебе на брюхе, смущенный, заискивающий, обескураженный. Сей мир способен загубить существование всего живого, всего искреннего. Загубить безвозвратно, загубить без остатка, загубить навсегда.

— Да, — сказала девочка.

Катя резала мне шею все глубже — и откуда в ней такая сноровка?! Она держала меня за волосы, другой же рукой с ножом кромсала мне горло над кадыком. Дочь моя, дочь! Они все существуют, чтобы нас убивать.

На минуту все успокоилось. Я сумел даже встать. Голова моя, голова была рядом, я нащупал ее. Я ее подобрал. Не оставлять же голову здесь!..

Причудливым образом станция «Елизаровская» вдвинулась в дом, и еще — подножие горы. Никогда прежде не замечал горы у «Елизаровской». Ветви можжевельника и бересклета стегали мои бедра и плечи с обеих сторон. И еще желтые кисти дрока взметывались над камнями замшелыми. Я искал тропу, мне следовало ее отыскать. Не знаю, зачем.

— Катя, — сказал я.

Но дочери уже не было.

Дочери вообще исчезают.

Тропу указали мне козы, черные козы с босыми ногами, их оказалось чуть более дюжины. Носы их были влажны, морды печальны, а шерсть шелковиста.

Тропа же попалась извилистая. Должно быть, кому-то достаются иные. Столько сил потратить, чтобы убить, заглушить в себе смысл, а тот все равно пробивается угрюмою, постылою порослью. Что за чудовищная несообразность, что за невольное расточительство, сказал себе я. А вот еще — Бог... Он нужен нам для того только, чтобы было возможно подумать о Нем. Непринужденно, рассеянно, неприкаянно. Вполсмысла.

Я взбирался все выше. Воздуха не хватало. Воздуха всегда не хватает. С такой-то атмосферой! Козы исчезли, они паслись себе мирно на склоне, когда я в последний раз услышал их, огибая скалу.

Трудно было взбираться по тропе с головою под мышкой. По сторонам сделались уж совершенные заросли. Там росло все колючее, все угрожающее. Была и еще тропа, пересекающая, перечеркивающая мою тропу. И еще много троп, все перечеркивающих.

Меня влекло к себе ликование. Возгласы, фанфары, треск фейерверка. Я был замечен, когда взбирался по лестнице из лабрадорита. Со ступенями обомшелыми и выщербленными. И снова «Елизаровская» подsunулась мне под руки. Торжественная, преобразившаяся, невероятная. И распахнулись врата.

Я взбирался ввысь, чтоб умалить свой дух. И дух мой умалился. Предо мною на каменной площади свершалось роскошное празднество. Тщательно вышагивали человечки, обладавшие бисквитными ужимками придворных. И зазвучал ригодон, в отверженных ушах моих слышался упругий его напор. Много созвучий, соцветий, сочленений набивалось в уши, в глаза, во все закоулки. Особенно — сочленений.

Танцующие полны сноровок. Взирающие содрогались от смеха. Я не был взирающим, я не был внимлющим. Я был затмившимся и выкорчеванным. Истребленным и оболганным.

Из распавшегося ригодона выворачивались барышни и кавалеры. Все в парче и перламутре. Хотя и без голов. И тут ужас раскатился над местностью. Над ступенями, балюстрадами и над кронами. Над стрижами и листовертками. Над соколиным полетом. Под Полярной звездой. Из-за капюшонов и балахонов, из-за штандартов и позументов выдвинулся, выступил старец, не лишенный промозгло-

—[НО]—

го благородства, истрепанного достоинства, шестьдесят одна красавица из винила и пластика молитвенно протягивали к нему свои вычурные, изящные руки, по воле верховоды, по мановению дочери моей, и я сам уже знал о существовании сего старца, я не сомневался в нем, я веровал в него, я пребывал от него в неотторжимой зависимости, и оказался сей старец (и тут-то все и преткнулось, все вознеслось и обрушилось) — Папа-король.

